



Михаил Ярцев

Обман

(продолжение повести, начало в № 4/2018)

Михаил Ярцев. Родился в 1953 году в Ленинграде. Петербуржец в четвертом поколении. Окончил ЛГУ, кандидат физико-математических наук по специальности «Океанология». Участник семи высокоширотных экспедиций к обоим полюсам Земли. Занимался издательским и страховым бизнесом. В последние годы нашел себя в качестве переводчика и литератора. Роман Михаила Ярцева «Лжец и отщепенец» номинировался на премию «Большая Книга» в 2016 году.

Бункер

Ну а третий обман — ключ дрожит в замке.

Ключ дрожит в замке, чемодан в руке...

Его разбудили одновременно стук в дверь и требовательный непрерывный зуммер внутренней сети.

Он открыл глаза, и по старой, давно сложившейся и очень полезной для жизни привычке все чувства его моментально обострились. За тонкой внутренней перегородкой, низко, на пределе слышимости, завывала сирена, чуть перекрывая срывающийся голос извне:

— Товарищ генерал-майор! Сигнал «Заря-2»! «Заря-2»!!

За время его службы здесь на архипелаге команда «Заря-2» приходила один раз — когда полностью с земли и воздуха были блокированы Дамаск и последний рубеж обороны — База. «Заря-2» — это двухчасовая готовность, готовность к чему-то абсолютно неизвестному, а оттого безумному и страшному. Но тогда за эти два часа сумели как-то договориться, и «Зарю-2» сменила «Заря-3», а через сутки ситуация была понижена до штатной.

...В оперативных планах генштаба его точка именовалась «Дальней», и — редкий случай — кодовое название достаточно точно соответствовало истине, не то, что какая-нибудь «оглобля» или «занавес». С середины прошлого века здесь, пробиваясь сквозь базальты и кристаллические сланцы, не добирая до нормы — пять кубометров породы в день — копались зеки. Их не хоронили — в вечной мерзлоте хоронить трудно, а складывали в аккуратный штабель и, густо облив соляжкой, жгли, оттаивая почву для новых сооружений. В 60-е зеков сменили военные строители, хотя менять-то было особо некого. Государственная монополия на нефть, лес и водку спокойно позволяла грызть эту проклятую богом и людьми землю днем и ночью. Так возник этот удивительный поселок, притаившийся около двух гольцов, со стороны напоминавших огромные бараньи лбы, столкнувшиеся в глупом ударе. Наверху остались только антенные поля и трехкилометровая взлетно-посадочная полоса, которая функционировала десять морозных месяцев, принимая спецрейсы медленных пузатых двенадцатых «Анов» и «76-х». К середине июля полоса таяла, превращаясь в российскую дорогу желтовато-коричневой грязной жижи и с первыми холодами, которые никогда не заставляли себя ждать, требовала немедленной реконструкции.

Раз в год, в конце августа, к архипелагу под ледокольной проводкой пробивались танкер и сухогруз, выбрасывали на припайный лед негабаритные грузы и закачивали поврежденным трубопроводам тысячи тонн топлива. Это были самые веселые дни на «Дальней» — с грузом приходили и личные посылки, и передатки. Перевозить авиарейсами какой-либо частный груз было категорически запрещено.

За два с лишком года на «Дальней» он привык почти ко всему — монотонности и оглушающему безделью бытия, подземной жизни без света и солнца, когда любой выход на поверхность без необходимости в лучшем случае рассматривался как прихоть или блажь. Группа механиков, обслуживавшая энергоблоки и силовые установки с отметки «-11», за три года оказывалась наверху лишь дважды — в день прилета и в день отлета. И вообще понятие «подышать воздухом» — столь обыденное в жизни — здесь практически отсутствовало, да и режим боевых дежурств «восемь через двенадцать» без праздников и выходных мало способствовал прогулкам. Он — как командир и начальник — жил вне графика, расплачиваясь за кажущуюся свободу ответственностью «за все».

Он привык к отсутствию новостей, актуальных хроник. На мониторе «Дальней» транспонировалось лишь два спутниковых ТВ-канала, наполненных официозными, тщательно отфильтрованными специально обученными редакторами, безвкусными, как синтетические крабовые палочки, информационными программами. Представление о происходя-

щем они давали относительное, поэтому обсуждать увиденное было признаком дурного тона, и если не прямым нарушением жестких правил и регламентов базы, то, по крайней мере, бестактным поступком. Доступа к «всемирной паутине», плотным коконом обернувшей земной шар, здесь, естественно, не было, и по внутренним коммуникационным сетям, строго локальным, периодически крутили старое немецкое порно и японский хентай. Это не поощрялось, но и не возбранялось. Кому охота — пусть смотрят, — конечно, в свободное от дежурства время.

Он привык быть один. Всегда и везде. В своем блоке и в офицерском собрании, огромном зале одиннадцать на двадцать три на отметке «-8». Друзей среди сослуживцев заводил в силу возраста, звания и положения было невозможно, да и вообще понятию «дружба» в замкнутом однополом коллективе по весьма прозаическим причинам относились настороженно. С Большой землей, материком, домом — каждый выбирал наименование, некую вербальную демаркацию по себе — его ничего не связывало, кроме большого и тихого загородного дома в области, сданного на три года какому-то чиновнику из местной мэрии. Вероятно, для плотских утех на природе. Жена медленно — и от этой медленности становилось особенно не по себе — угасала в частной клинике шестой год, не узнавая окружающих. Сын при первых начатках зрелости порвал с семьей ради женщины, которая в горизонтальном положении в пять минут доказала ему, что отец — «монстр и чудовище», а мать — «старая больная карга», и что общение с ними портит его и так непростой характер. Видела бы эта дурно воспитанная хорошенькая пейзажка ослепительную длинноногую блондинку, с глазами разного цвета, от темно-зеленого (сердитого), до ярко-пронзительно голубого (радостно оживленного) в зависимости от состояния души, за которой ухлестывали все встречные-поперечные. Да что встречные — все его приятели, убежденные, что она носит контактные линзы, меняя их утром и вечером. Беспечная хозяйка — фея из «Золушки», «а розы пусть вырастут сами!», умелый руководитель, очаровательная любовница и — самое главное — верный и единственный друг, который терпеливо ждал его из всех командировок и как-то сутки простоял напротив входа в военную прокуратуру, когда его — по счастью, безуспешно — попытались привлечь по старым чеченским делам.

Ветер с Олимпа очень вовремя изменил направление, и выяснилось, что дела как бы и не было вовсе.

Все попытки сближения наталкивались на вялое — что самое обидное — равнодушное сопротивление, и вскоре прекратились. Жена начала хворать, еще не тревожно: «хандра», «легкий депресняк», но уже тогда надо было бить во все колокола — видно, заноза в ее душе при всей внешней невозмутимости засела значительно глубже, чем он мог

себе представить. И тот его счастливый лепет, когда из дверей роддома ему вынесли кулек, перевязанный голубой лентой, и от волнения синей пятирублевкой он попал медсестре не в нагрудный карман, а прямо в бюстгальтер, — «Милая, вот нас было два звена одной цепи, теперь три, а вырастет — будет и четыре, пять, шесть» — остался просто лепетом, сотрясением воздуха и более ничем. Третье звено оказалось слабым.

С ним всегда оставалась лишь небольшая фотография — в узкой рамке под стеклом для большей сохранности, запечатлевшая, как любая другая фотокарточка, застывшее время. Они стояли втроем, обнявшись за плечи. Посередине — мать, пораженная ухоженностью красивой зрелой женщины и чуть надменной полуулыбкой истинной принцессы крови. Справа красивый — в мать — долговязый юноша, немного вздернутый и растерянный, как будто ослепленный торжественностью момента. И он сам в дорогом штатском костюме, который надел, чтобы не смущать присутствующих только что полученными генеральскими звездами. Не очень похожий на себя — он плохо получался на парадных съемках.

Школьный выпускной у сына.

...Рысцей пробежал по длинному коридору к лифтовой площадке. Два автоматчика с белыми перекошенными лицами вытянулись в струну. Из встроенных в стены динамиков нейтральный баритон непрерывно повторял, озвучивая уже пришедший по четырем независимым друг от друга линиям спецсвязи — от СВЧ со спутника до всепроникающего модулированного инфранизкочастотного канала, который качала в пространство гигантская передающая антенна, зарытая где-то в предгорьях Уральского хребта — сигнал:

— Заря-2! Заря-2!

Голос противно бубнил:

— Расчеты — один, восемнадцать, уровень оранжевый, 19–36 — уровень красный, Заря-2, Заря-2!

Блиндированная дверь закрылась, и он оказался в просторной стальной капсуле с решетчатыми отверстиями голосовой связи и управления. Ровным голосом, обращаясь в кажущуюся пустоту капсулы, он назвал свой личный код:

— Абакан 317, Тында 51, — лифт бесшумно повлек его в сердце базы на отметку «–6».

За два с половиной года он привык находить себе занятие, чтобы ненароком не сойти с ума. Еженедельный медосмотр неминуемо показал бы возможные отклонения, тем более что каждого на базе тестировал не врач — свой в доску лепила — а компьютерная программа, бесстрашная, как инопланетянин. На первом году, познав все прелести полярной

ночи, пятидесятиградусных морозов и полярных сияний, он попробовал писать. Получалось нечто вроде:

«...И снова осень на дворе кострами дымными пылает...» — нашептывает плеер.

Поздний вечер. Осень.

Сколько раз видано, сколько раз описано! И кем...

Но здесь иное. Полудрема. Тяжелый день позади. Приходит сон, как провал в пропасть, на пять, десять минут — еще не все дела переделаны. Первая пурга в этом году. Давно пора — начало сентября.

Не осталось ничего конкретного, полного. Сохранились полочувства, накопилась полуусталость, прошло полсрока, впереди столько же, круто, сложно...

Наверху — фиолетовый полумрак. Узкие всполохи прожектора, пятнающие снег, маленькие оазисы света, а вокруг — густая тягучая темнота, чернила опрокинутой чернильницы.

Со стороны, все вокруг — декорации, фантазмагория... Ни шелеста, ни шороха, ни крика, ни шума. Только подвывание ветра на одной басовой ноте... Только металлический скрежет снега под подошвой, линий кабелей, антенных мачт, которых изморозь превратила в толстые снежные тросы, выхваченные из темноты странными изломанными ракурсами. И сквозь рваную облачность — оскал бледного сияния, тусклого, еле заметного, раннего.

Но не очень-то приходится стоять и внимать. Мороз под двадцать, зато идти в удовольствие, первые снегопады прошли, сила ветра схватила и спрессовала верхний слой снега твердой коркой. Идешь один. Этого делать категорически нельзя, но на микропереходе в сто-двести метров дозволено. И посещает страшная крамольная мысль: что было бы, если ты остался один? Совершенно один.

Пусть все огромное хозяйство — твое. Только твое.

Склады — мясо, консервы, крупа, сахар, чай, табак.

Хранилище — топливо, бензин, соляр. Дома — блоки, живи хоть в трех. Черное небо — твое. Черные торосы — твои.

Все вокруг на тысячу миль — твое. Один...

От чего он погибнет раньше, опустив руки и прикрыв веки, и уснув, как подбитая птица на снегу? От тоски по человеческому голосу? От страха перед апокалиптической картиной ночи, вечно неизменяющейся ночи, дыхания морозов и пронзительных холодов? От собственной беспомощности, от ничегонеделания? От кошмаров, от призраков белых бесплотных лиц, завывающих голосов: «Выйди, выйди»? Своих собственных следов, снов в холодном поту, бреда, пустоты?

На пределе отчаяния, в походе к людям, превратившись в пельмень в морозильнике — это надо идти тысячу километров, а пройти одному без

поддержки и помощи сотню, ну, сто пятьдесят верст — уже испытание испытаний...

Когда ни уйти, ни закричать, ни позвать на помощь — некого. Без людей — никуда. Без товарищей — никак.

Нападает вялость; трудно установить, не спутать причину и следствие: то ли вялость мыслей и чувств рождает слабость физическую, то ли отсутствие физических нагрузок, к которым успел крепко привыкнуть, сковывает ум. Как резко ушедший из спорта чемпион, расслабившись на малую долю, мигом теряет форму...

Перечитав раз восемь готовый текст, он убедился в своей наивности, столь неожиданной в умудренном жизнью, много видевшем человеке. Кому же, кроме него одного, нужны эти опусы и экзерсисы, сплошь состоящие из рефлексии об ушедшем и несбывшемся, в которых не было продажных ментов, благородных бандитов, красоток, охотно раздвигающих ноги при первом зове отважных героев, и взяточников из верхних эшелонов власти... Записок очень личных, и тем менее интересных широкой публике. Воспоминания безумца, бред сумасшедшего, расщепленное сознание в активной фазе — диагноз чисто медицинского свойства, маниакально-депрессивный психоз. Любой мало-мальски грамотный редактор, бегло ознакомившись с текстом, отправит начинающего автора вместе с рукописью к врачу, а отнюдь не на редакционную коллегию.

Однако это занятие спасло ему месяцев семь-восемь пребывания на «Дальней». Подумав, он окончательно убрал стопку исписанных не очень аккуратным почерком листов из верхнего ящика стола на дно чемодана «прибытия-убытия», как абсолютно бесполезную вещь.

Потом настало новое увлечение — шахматы. Давным-давно дядя, которого звали Сеня, научил его распознавать фигуры и не ошибаться с их движением по доске. Строго приказал называть ферзя — ферзем, а не королевой, равно как слона — слоном. Нельзя сказать, что у него был особенный дар, но, никогда не занимаясь игрой специально, то в училище, то в академии, от случая к случаю он двигал фигуры вполне сносно, на уровне приличного любителя. Однажды ему довелось участвовать в сеансе со вторым русским — после непобежденного и тем более великого Алехина — чемпионом мира, когда тот, празднуя успех, доставшийся ему без борьбы, ездил по стране с лекциями и сеансами. К его большому удовольствию, он проиграл чемпиону в эндшпиле, в последней пятерке из сорока участников. Возможно, причиной его успехов стала незаурядная память, доставшаяся ему по наследству.

Окончательно одурев от неизменного одиночества — последние годы он был одинок всегда, а товарищей среди сослуживцев, живших в графике «8 через 12», быть в принципе не могло, — он обратился с неожиданной

просьбой к наиболее толковому офицеру из IT-группы, и тот, порывшись в CD-библиотеке, поставил на его личный компьютер суперсовременную программу Chess Master-9000. В ней было все, что на момент ее выхода в мире было известно о древней игре. От истории — оказывается, это игра, точнее, ее начатки, родилась в воспаленном воображении ариев, населявших полуостров Индостан во тьме веков начала новой эры, — до тысячи самых знаменитых партий великих шахматных маэстро. К обширным исследованиям дебютов в качестве дивертисмента предлагалось познакомиться с разработками обиженных чемпионов, утративших титул — шахматами Капабланки на придуманной им, на веки вечные уничтоженным гением Алехина, прямоугольной доске, и шахматами Фишера со стохастической начальной расстановкой.

Игра его захватила, каждый вечер по три-четыре часа он штудировал пособие и через полгода четко различал нюансы и отличия позиций варианта Ботвинника, сравнивая их с оборонительной системой Акибы Рубинштейна в знаменитой защите Нимцовича, а атака Маршалла в испанской партии стала его любимым оружием в игре белыми фигурами...

Лифт остановился. На отметке «-6» не было никаких помещений, кроме комнаты «Принятия Решений», а официально — «Бокс 6-00». Центральный пост управления находился одним горизонтом выше, и оттуда в «Бокс 6-00» из большого зала, где по всему периметру были установлены фальшьстены из плазменных панелей, поступала лишь трижды проверенная и тщательно выверенная информация. Окончательный вердикт выносился именно здесь. Допуск в этот последний круга ада, кроме него, имели только шесть человек, каждый в звании не ниже подполковника, по двое от трех смен, проверенные на стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях, бессемейные и, желательно, детдомовские сироты. Он прекрасно знал, что пожилой полковник из второй смены нагло спал на дежурствах, очевидно, как старый служака (ему оставалось меньше года до отставки), попросту решивший для себя, что если сигнал не поступает, то работы как таковой нет, а если сигнал поступит, то, наверное, не стоит просыпаться ввиду неминуемо грядущего отсутствия признаков жизни на планете. Он, как образцовый командир, знал все про всех своих подчиненных... Снова назвал тем же ровным голосом код, но теперь — на выход — в обратном порядке:

— 51 Тында, 317 Абакан.

В промежуточном тамбуре еще раз повторил код, но уже вразбивку. Очевидно, хитроумцы из ФСБ, разработавшие системы защиты и контроля на объекте, когда-то посчитали, что если обладатель кода — под пытками или за огромные миллиарды, или, что вероятнее, по пьянке — разгласит код агентам врага, спующим на просторах Родины, он практически

ничего не выдаст — ведь вряд ли его будут спрашивать об особенностях его применения. Как они себе представляли иностранного шпиона в таком изолированном месте, где не гнездились даже полярные чайки, а до ближайшего жилья было больше тысячи километров, оставалось вечной загадкой.

Открыв последнюю дверь простым толчком, без всяких «квестов», он увидел две пары глаз — карих и темно-серых, расширенных до невероятных размеров. Из динамиков тот же баритон, не меняя тональности, вещал: «Заря-1! Заря-1! Заря-1!» А на внезапно вспыхнувших мониторах медленно пополз длинный ряд букв и цифр — коды запуска и целеуказания. «Заря-1» — это получасовая готовность, равная подлетному времени Reasetmaker'ов вероятного противника, плюс пять-семь минут, в течение которых центр должен дать отбой или...

...Вечером, сыграв восьмую-девятую партию, он ничком ложился на кушетку, надевал наушники старого CD-плеера, на который особенно косился эфэсбэшник в комнате с аккуратной табличкой «Проверка и досмотр прибывающих». Разглядев генеральские погоны и прочитав должность в командировочном предписании, с видимой невооруженным глазом неохотой пропустил. Другой личной электроники на всем объекте — от площадей шахтного поля и барачов аэродромной охраны до отметки «-11», где непрерывно молотили дизель-генераторы, — не было.

Вставлял в прорезь один и тот же диск, который нарезал ему сын по его списку, с легкостью необыкновенной освоивший компьютерную грамотность. Удивленно пожал плечами, недоумевая от странного и непонятного выбора отца, но и не обсуждая его вкусы. На следующий день передал пластиковую коробочку.

— Лучше на флешку скинуть, — посоветовал он. — Тут всего семнадцать композиций...

— Буду я с собой таскать компьютер... А плеер — маленький...

— Ну, купи себе музыку современнее...

— Мне этот мил, — коротко ответил он, не влезая в подробности.

И с тех пор, когда ему было плохо, и выдавался подходящий момент, он слушал свою музыку. Последние годы ему было плохо всегда, тоска усиливалась к вечеру. На базе это чувство стало особенно острым. И он пытался глушить его музыкой. Альтернативы не было — алкоголь здесь был под категорическим запретом.

Спокойный, но от этого не менее волнующий речитатив Окуджавы: «Неистов и упрям, гори, огонь, гори. На смену декаблям приходят январь...» сменял переходящий на вой надрыв Натальи Медведевой: «А-а-

астались от сторожа обломки двустволки и walkman, играющий попури из хитов!!»

Вечный во все времена хриплый голос: «Я только подумал, чужие куря папироски: “Тут кто как умеет — мне важно увидеть ва-а-асход”...» соседствовал с трагическим контральто Бичевской: «Как на грозный Терек, на высокий берег выгнали казаки сорок тысяч лошадей...»

Последние три композиции были на английском. Сначала Бонни Тайлер пыталась найти своего героя, потом Ширли Бэсси в диско-стиле утоляла свою страсть, сто раз повторяя рефрен и переходя на французский: «La Passione, la Passione».

Заканчивала музыкальный вечер красотка Шивари, вкрадчиво мяукая про добрую полуночную луну, что полностью соответствовало переходу в умиротворенное состояние. И наступал благодатный сон...

— ...Заря-1! — ровно повторил динамик.

Молодой майор (карьерист, каких мало: неведомо как попал в тридцать два года на подполковничью должность, год за три, в формуляре запись «Дальняя», то есть ВЧ 25106, а точнее, «Амдерма-190», с ума не сошел, рассудок не потерял, «показал пример выдержки и дисциплинированности при экстремальных условиях», такого можно отсюда и в генштаб, глядишь к тридцати восьми уже полковник, а там как карта ляжет — и генерал) вылупил глаза и, не зная, куда деть руки, то заламывая их над головой, то стряхивая кисти вниз, как профессиональный биллиардист перед сложным ударом, попытался что-то спросить, но из перехваченного горла вырвался лишь хрип:

— Ахрр, таррр, тарржж... хрр.

Пожилый подполковник, так и не оторвавшись от кресла — тройной оклад, плюс надбавки «северная» и «точечная», три года — и квартира в каком-нибудь Саранске, дачка, банька, цветы гладиолусы, перед пенсией деньжат накопить (на пенсию сейчас можно прожить, питаюсь лишь на ближайшей помойке) — мелко дрожал, как одержимый пляской Святого Витта, болезнью Паркинсона в темпоральной стадии, и приговаривал откровенно:

— Это капец, это капец...

С порога, во всю мощь высокого срывающегося голоса, знаменитым восьмизэтажным матом, которым он когда-то поднял остатки своего батальона и отряд спецназа ГРУ через чистое поле в лобовую на Хасавюрт, выполняя убийственный приказ (и ведь, потеряв половину отборных бойцов, каждый из которых умел убить человека обычным листом бумаги, зацепился за окраину и держался почти двое суток, пока на броне не подкатила 54-я мотострелковая Скворцова), заорал:

— Вам, ..., не в ракетных войсках, а на мясокомбинате служить! Сви-
ньями!! Баранами!! Пошли на ...!! Вон отсюда к ...!!! Вернусь, погоны ...
мне на стол положите, — проорал вслед забухавшим по коридору бот-
тинкам.

То, что он сделал сейчас в нарушение всех мыслимых инструкций, прави-
л и законов, в любых других условиях означало лишь одно — скорый
суд военного трибунала...

«Задвигать» его стали довольно давно. Это случилось, когда округ, в
котором он служил в должности начальника вооружений, посетил новый
министр обороны. Было удивительно наблюдать, как человек с лицом
проворовавшегося завмага, на котором дорогуший гражданский костюм
смотрелся изделием неумелого кустика, на двухчасовом совещании ос-
новное внимание комсостава заострил на развитии в округе сети пра-
чечных и привлечению вольнонаемного персонала для уборки и обу-
стройства территории военных городков. По его мнению, эти инновации
несомненно должны были повысить боеспособность вверенных генера-
лам частей и соединений.

На исходе второго часа у него сдали нервы, он не выдержал и громким
шепотом несколько в сторону докладчика произнес:

— Какую страну просрали... Теперь вторую просрем...

Докладчик сделал вид, что не слышал реплики, но вскоре особист,
вполне сносный малый — и среди «особняков» встречаются люди, — со-
общил ему, что его личное дело затребовано в генштаб.

Около года он находился в подвешенном состоянии. Видимо, вопрос
был сложный — служака-офицер, генерал в свои пятьдесят два, горячие
точки, три боевых ордена, Саланг, Хасавюрт, Бамут, академия, переподго-
товки, женат, ребенок, «предан Родине», «дисциплинирован», допуск по
форме даже не 0010, а 00010 — «особой важности», еще бы, начальник
вооружений и т. д., и т. п. Но с другой стороны — такая выходка...

Небожители, взвесив все «за» и «против», из армии его не поперли, но
о второй звезде надо было забыть навсегда. Потом времена изменились,
но на его личной судьбе это никак не отразилось. И теперь дали дослуж-
ить здесь, на краю Ойкумены, в пограничной реальности...

На базе ему стали сниться сны. Часто и помногу. Иногда — перетекая
из одного в другой, но чаще разыгрывая один законченный сюжет.

Снились большие чудные глаза сына, когда восьмилетнему мальчи-
ку привезли специальный столик с водруженным на него компьютером.
Снилось его восхищение и тонкие пальчики, через месяц ловко порхав-
шие по клавиатуре, гоняя по экрану смешного человечка, который из дву-
стволки отстреливался от забавных монстров, перезаряжая — клац, клац,
клац — дробовик на бегу...

Снилось его двадцатипятилетие, когда он, заранее накопив денег, пригласил ее в дорогой ресторан, где сообщил две вещи: во-первых, он уезжает месяцев на восемь, максимум на год — в командировку, а во-вторых, по возвращении просит стать его женой. Снилось ее удивительная реакция. Ее лицо не дрогнуло. Спокойно, не меняя тона, ответила:

— Буду ждать.

Помедлила и добавила:

— Только вернись...

А потом полезла в сумочку и вынула оттуда двух маленьких плюшевых медвежат:

— Этого тебе, а этот — вместо тебя — будет мой, — и ласково положила свою узкую ладонь в его руку.

...Снился дед, который учил его играть в городки, называя их по-старинному «рюхи». Снилось мороженое — сахарная трубочка за пятнадцать копеек, которая изредка появлялась на столе. Причем сначала надо было ложечкой съесть собственно мороженое, а потом подсушить вафельную оболочку до хрустящего состояния и попить с ней чаю...

И никогда не снилась всякая белиберда молодых лет, — падение, взлет, узкости, пропажи, потери, преследования и угрозы. Не снились — в отличие от многих его бывших товарищей — кошмары последних десятилетий: трехсуточный траверс перевала Саланг, засада под Ведено, окна Хасавюрта, огрызающиеся шквальным огнем со всех директрис. Он как бы проживал заново лучшую часть своей земной жизни, которая безвозвратно ушла и никогда более не вернется, как не вырастут четыре зуба, выбитые на допросе в военной прокуратуре ретивым капитаном юстиции. Тем мучительнее было пробуждение, возвращение в сиюминутную реальность «здесь и сейчас», в темноту казенной комнаты без окон. И он очень отчетливо понимал, что ностальгия — это понятие вовсе не места, как то пытались представить некоторые просвещенные деятели культуры, но — времени. Выражаясь проще, языком казармы, освоенном еще в Суворовском, тоска по времени, «когда щи были кислее, а теснее».

Очнувшись от секундного рауша, вызванного собственным криком, он заметил, что бегущая строка букв и цифр на огромном мониторе ускорила темп, накатывая на финиш. И тут же знакомый недогнущий голос сообщил новую вводную: «Канал-1, подтверждение, канал-1 дубль, подтверждение, Заря-0, Заря-0».

Абсолютно спокойно, как на командно-штабных учениях, он подошел к встроенному сейфу, набрал шифр, доступный, кроме дежурной смены, только ему, и вынул два длинных ключа, немного похожих на ригельные.

— Канал-2 подтверждаю, канал-2 дубль, подтверждаю, Заря-0, Заря-0...

Открыл на панели управления две красные крышки, обнажившие узкие черные щели, положил ключи прямо перед собой. Движения его обрели плавную неторопливость и машинальность контуженного. Он начал видеть себя со стороны, будто добавочным глазом рассматривал происходящее в большом зеркале.

— Канал-3 подтверждение, дубль подтверждение, Заря-0, Заря-0.

Бег строки на экране стремительно убыстрился.

— Канал-3 подтверждение, дубль подтверждение, Заря-0, Заря-0.

Четвертой команды не было...

«...Заря-0 идет уже сто десять секунд, — прошелестело в голове, — что это — чудовищный фантастический сбой, тогда ради чего были загублены десятки тысяч жизней и огромные миллиарды настоящих денег? Либо РЛС дальнего обнаружения прошляпили, ядерный зонтик не раскрылся или раскрылся не полностью, а антенного поля связи — того самого четвертого канала — со всеми причиндалами, включая близлежащий городок, уже нет, и на его месте вслухает и лопается земля?»

«Дальняя» может выдержать прямое попадание килотонн эдак до двухсот — правда, это были лишь расчеты и, понятное дело, на практике такой проверки не проводилось. Два шахтных поля по шестнадцать установок — «штырьков», как ласково их называли ремонтники и обслуга, — разнесены на четырнадцать километров, и одно из них уж точно сработает... Старая добрая «Сатана», так называли ее во всем мире, а официально — межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М, с десятью Хиросимами в каждой из десяти разделяющихся частей, способная преодолеть любое радиоактивное облако жесткого гамма-излучения, испепеляющее любую другую электронику. Он вообще не любил эти новомодные «Бердыши» и «Алебарды», которые можно было спрятать в морском контейнере или плацкартном вагоне. «Сатана» всегда оставалась «Сатаной».

Голос продолжал крутить шарманку про первые три канала. Он подумал о том, что происходит на верхнем ярусе центрального поста, но впервые за многие годы испугался собственной мысли. Вдруг вспомнил, как распекал его командующий округом после давней истории с министром, и как на его глубоко штатский вопрос: «Так где же выход, товарищ генерал-полковник?» он услышал простой ответ: «Выход есть всегда», и палец командующего, описав большую дугу, указал ему на дверь.

«Выход есть всегда», — произнес он вслух и, расстегнув кобуру, положил рядом с ключами «ПМ» с потертой рукояткой. Оружия на всех уровнях, кроме него, никто не имел, а охрана у лифтовых и на периметре проникнуть дальше вглубь базы не могла, так как не имела автоматических идентификационных антропометрических карт и кодов.

«Выход есть всегда», — снова повторил он и склонился над встроеной панелью управления, одновременно обрубив связь с центральным постом. Голова налилась кровью, веки набрякли. Работали только пальцы и память хорошего шахматиста. Он коммутировал три первых канала на четвертый в ручном режиме. Такая функция не была предусмотрена, но он знал из рассказов сына, что самую изощренную машину возможно обмануть не хитроумным взломом или вирусом, а лишь по-детски, примитивнейшим образом. Сначала удалось обрубить защиту процессора...

...Остановившийся было экран заплясал в бешеном танце, потом померк, изменил цвет с черно-зеленого на слепительно-белый и выбросил вместо длинных рядов непонятных символов четыре буквы ПУСК. Слепительно-белый фон вдруг пропал, сменился на желтый, и ему показалось, что подложкой-заставкой за фоном стала гора человеческих черепов. Одновременно двумя руками он ввел ключи в прорези и нажал клавишу «Enter». Вернуть систему в первоначальное состояние было уже невозможно — функция «Escаре» блокировалась автоматически.

...Черная сморщенная ворона долбила череп. Долбила его истерзанный мозг, старясь выковырять все вкусные остатки. Боль становилась невыносимой, раскалывая голову пополам. «Деда! Ты меня слышишь?! Ты меня все-таки слышишь?!»

...Завыли сервомоторы, «Дальняя» всколыхнулась от толчка, и крышки шахтных люков поехали в сторону, открывая бесконечность и знаменную наступление Судного дня.

«Деда! Ты меня слышишь?! Ты меня все-таки обманул, деда! Зачем?»

Он вложил в рот дуло старого потертого «ПМ». Раздался выстрел. И секундной вспышкой возник вокзальный перрон, и дед, неумело машущий шляпой, и убегающий в надвигающуюся темноту поезд.

...Он не мог слышать и чувствовать, как охнула земля от одномоментного минометного старта тридцати двух монстров, как заревели маршевые двигатели и поплыла талой водой вечная мерзлота архипелага. Разгрузка пошла...

Поезд

*А четвертый обман — он войны страшней,
Он войны страшней, он ночи черней...*

Ее арестовали буднично, тем более что происходило это в самый будний обычный серый понедельник. Без погонь и перестрелок, с внезапной простотой, как маслом вниз падает утренний бутерброд, намазанный не твердой похмельной рукой.

В 10:45 объявили перерыв на производственную гимнастику. Мужчины, естественно, пошли курить на лестничную площадку, женщины собрались в «чайном» углу посудачить о житье-бытье. Она оторвалась от кульмана и поспешила за мужчинами. Ей вообще нравились мужчины. Ей нравилось ловить на себе восхищенные и нескромные взгляды. В их обществе она — красивая, с удивительно правильными, но чуть мелковатыми чертами лица — чувствовала себя главной фигурой, центром внимания. А среди их обширной популяции ее особенно привлекали две разновидности: крупные, сильные и уверенные в себе, и мужчины-начальники. Совпадение сопровождалось взрывом карбида кальция, попавшего в воду. Так она сошлась со своим руководителем дипломного проекта — пятидесятилетним красавцем, которому давно прискучила высохшая жена, постарше него на пяток лет. Рождение сына не помешало ей блестяще защитить диплом и получить хорошее распределение здесь же в Ленинграде, в знаменитый на всю страну проектный институт. С трехмесячного возраста, когда физиология взяла свое и малыш перешел на искусственное питание, она поручила заботу о нем своим родителям, которые души не чаяли во внуке, так как Петр (званцевского ментора звали Петром, а полностью — Петром Алексеевичем, прозвище, естественно, было «Петр Великий», чем втайне от окружающих он очень гордился) на поверку оказался слабовольной тряпкой и оставить свою жену, жениться снова и тем более признать ребенка спешил не особо, четвертый год избегая решительных поступков под бесконечный наигрыш шарманки:

— Ну, милая, в понедельник... ну, из командировки вернусь... вот лето кончится...

Под эти сладкие разговоры проходило не только лето, но и все остальные времена года. Потом история повторялась.

В один, наверное, не очень прекрасный день она, проплакав всю ночь, набрала номер Петра и заявила ему по телефону, что его визиты по субботам и воскресеньям ее больше не устраивают, что три-четыре недели в году его вымышленных для благоверной командировок ей надоели, что она устала кричать в форточку: «Петр, вернись!», и начинает новую жизнь. На другом конце линии ей послышался вздох облегчения.

Сделав выбор и смирившись с потерей Петра, она твердо решила: теперь только брак, официальный, с ЗАГСом и свидетелями, и ничего такого до брака — в ином случае вся история с самого начала вполне предсказуема, единожды пройдена, и ее конец печально известен.

Но как могла устоять молодая и красивая женщина, увидев Сеню — Семена Моисеевича — Ковбыша? На первом научно-техническом совете, куда обязательно приглашали новичков и неоперившихся специалистов — на задние ряды в качестве вольнослушателей, равно как для

создания атмосферы широкого обсуждения, так и для смычки трудового коллектива и некой преемственности поколений архитекторов-проектировщиков, — она услышала его выступление.

Высокий молодежавый человек с упоением рассказывал присутствующим о проекте нового города. Города посередине вековой тайги (в ту эпоху стало модно рассуждать о заселении непроходимых чащ, безводных пустынь и повороте рек) — некоего гипотетического Кедрогграда или Пихтополя — из бетона и стекла, с широкими проспектами и бульварами, по которым будут ходить строители светлого коммунистического завтра, а в перерывах между променадами — варить сталь и сеять полезные злаки.

Видеопроектор показывал удивительные слайды. Макет жилого дома из крупных блоков, заменяющих тысячи кирпичей, фабрики-кухни с автоматической подачей блюд по конвейерной ленте, поликлиника с цельковым стеклянным фасадом... Глаза Семена Ковбыша, черные-пречерные и чуть навываке, горели. Оратор входил в раж, и шапка смоляных волос, чуть тронутая сверххранной сединой, что встречается иногда у жгучих брюнетов, периодически разметалась в артистическом беспорядке, отчего время от времени докладчик красиво поправлял непокорные пряди. Звучный баритон с мельчайшим грассированием не переставал убеждать уважаемых членов совета в нужности и важности реализации подобных проектов.

Она влюбилась с первого взгляда, и даже внезапно пришедший на ум вопрос — насколько удобно будет больным и увечным пациентам в стеклянных процедурных и смотровых кабинетах проектируемой санчасти? — уже ничего не мог изменить.

Ей не стоило больших усилий устроить так, что самый молодой в институте руководитель проекта стал персонально курировать ее работу. Ковбышу, вероятно, льстило тесное общение с самой красивой женщиной в институте, но — надо отдать должное Званцевой — она, как знаменитая Шахерезада, рассказывая султану сказки, допускала, по свидетельству оригинала, «лишь дозволенные ласки». Еще бы — обжегшись на молоке, будешь дуть на дистиллированную воду. Познакомила Ковбыша со своими родителями, а потом и с сыном. На удивление, они друг другу понравились, и если Ковбыш, может быть, и умел лукавить, хотя вряд ли, то бесхитростному, не по годам развитому и смышленому карапузу новый мамин друг определенно приглянулся. Своего биологического отца он побаивался и не понимал: то придет и осыплет дорогими подарками (и даже автокран со стрелой подарит, как настоящий, на резиновых колесиках), то исчезнет на два-три месяца, а вернувшись, запрется с мамой на кухне и весь вечер будет что-то громко бубнить, не обращая на Мишку никакого внимания.

В любой истории счастливой влюбленной пары есть свое темное пятно, более чем полностью укладывающееся в незамысловатую схему одного из двух вариантов: либо «бывший-бывшая», либо «Ромео и Джульетта». В данном случае со стороны клана Званцевых-Капулетти особенного неудовольствия от нового увлечения Джульетты было не высказано, лишь мать бросила: «Ну еврей, ну и что, мы же со Шпильбергами дружим... И Зураб — даром что грузинский, остроумец, весельчак... А Семен — умница, кандидатскую защитил, серьезный и от жены бегать не будет, у них это не принято... Не то что у русских». Мать Званцевой была обрусевшей эстонкой, но корни свои помнила хорошо, и больше всего, даже больше дочери, любила труд на «своей земле». Еще она любила Хрущева, который выделил желающим горожанам двенадцать соток этой самой «своей земли», правда, запретив строить на ней дома больше сорока квадратов.

Однако со стороны Монтеки-Ковбышей складывалась ситуация совсем иного рода. Старшие Ковбыши, узнав о новом увлечении единственного сына, пришли в ужас.

Ада Соломоновна ограничилась вполне традиционным:

— Сеня! Ты делаешь маме больно... У мамы сердце... Она нагуляла одного... Вертихвостка... Нагуляет и второго... И твоей старой маме подкинет грусти...

Отец, узнав о связи сына с русской, да еще с ребенком на руках, высказался еще определеннее:

— Семен! Она здесь, — и он широким жестом указал на богато обставленные комнаты, — хозяйкой никогда не будет! Только через мой труп!

Напрасно сын раз за разом вызывал отца на серьезный разговор. Напоминал ему, что тот — член партии с восемнадцатого года, Советскую власть в Закавказье устанавливал, мусаватистов и дашнаков бил, совсем мальчишкой еще, «Почетный чекист», войну прошел, шпионов и диверсантов обезвреживал, и щитом поработал, и мечом, и времена другие, и люди... и любовь у него, узнаешь ее поближе — полюбишь... Доводы не действовали. Старый Ковбыш был неумолим, как будто вновь занял председательское место в военном трибунале.

Сеня в прошлую среду уехал в Москву с докладом в Главстрой, вернуться должен был в субботу, а в воскресенье, улучив момент, обязательно позвонить. Она просидела в выходной у телефона, но звонка не было. На влюбленного Сеню это было не похоже — значит, что-то случилось. Напрасно Сеня потащил ее перед отъездом к себе домой — знакомить с родителями. Встреча получилась скомканной, сумбурной и закончилась скандалом и обвинениями. Они, не просидев и часа и не допив чай, убе-

жали, а время до отхода «Стрелы» скоротали в скверике на Пушкинской, целуясь под неодобрительными взглядами редких прохожих.

«Что-то точно случилось», — думала она. Безотчетная тревога нарастала.

— Вы Ковбыша сегодня не видели? — спросила она у ближайшего курьерщика, чуть поперхнувшись серым дымом крепких папирос.

— Он нам не докладывает, не видел, заболел, наверное... — довольно грубо отрезал старший инженер группы, ощупывая ее взглядом и явно сгорая от ревности, — об их связи с Сеней в институте шушукались уже давно... А радио с веселой музыкой и счетом замолчало, курящие потянулись к выходу; она так и осталась стоять у большой урны забитой окурками.

По лестнице на ее площадку поднимались двое в костюмах одинакового кроя, что еще больше подчеркивало их безликую одинаковость. Один — чуть подлиннее — вежливо обратился к ней:

— Не подскажите, милочка, в какой комнате сидит Званцева Элеонора Борисовна?

Она несколько опешила:

— Это я... Вы что, из Трансстроя? Я пояснительную...

— Очень хорошо, — перебил ее тот, что пониже. — Пройдемте с нами, у нас к вам несколько вопросов, — и плотно, но не больно взял ее за локоть...

— Руки уберите, — завелась Званцева. — Я руководству доложу...

— С вашим руководством все вопросы мы решили, — ответил длинный и крепко взял ее за другой локоть. — Пройдемте, гражданочка.

И они повлекли ее вниз по лестнице.

...Потрепанная «Победа», лихо свернув на «красный» на Герцена, в один миг оказалась на Исаакиевской площади, напротив «Астории», где они с Сеней месяц назад отмечали его премию. Но вестибюль здания, куда ее затащили, на ресторан вовсе не походил, а аккуратная табличка у входа свидетельствовала о том, что здесь располагается городская прокуратура.

В кабинете за большим столом, крытым по традиции зеленым сукном, сидел немолодой кряжистый человек с недобрыми, злыми глазами. Он взял со стола какую-то бумажку и, повторяя раздельно каждое слово, прочитал:

— Званцева Элеонора Борисовна, 1932 года рождения, место рождения — Ленинград... — Да, — ошеломленно прошептала она, стараясь прогнать этот удивительный и крайне неприятный сон.

— Садись, голуба, — умиротворенно произнес хозяин кабинета, и с этими словами длинный опер пододвинул на центр комнаты табурет. — А что не спросила «на сколько?» — и все трое дружно захохотали.

Званцева не поняла причину их веселья и машинально опустилась на табуретку. Кряжистый, порывшись в бумагах малое время, вынул папку средней толщины и, бегло пролистывая ее содержимое, продолжил:

— Хотя сидеть тебе, голуба, придется разве что до суда, и потом — чуть... У нас за убийство, сама понимаешь, расстрел...

Попала Званцева к Заворотняку.

...Следователь по особо важным делам городской прокуратуры Иван Антонович Заворотняк с интересом листал пока еще нетолстую папку с аккуратно подшитыми материалами и недовольно морщился... Дело, которое ему поручили вечером в субботу, и из-за которого он, лишившись законного права на выходной, корпел над бумагами все воскресенье, не представлялось особенно сложным. Но он не выспался и был зол на весь белый свет. На начальство — ну что поделать, если ты «важняк», а тут 102-я, умышленное убийство, да еще, судя по пока скудным предварительным материалам, со всеми возможными отягощениями. На дурацкую ленинградскую погоду, когда безоблачное воскресенье начала апреля за ночь обратилось в серый туманный понедельник. То ли дело — Белоруссия, где он начинал сразу после войны: лето — это лето, зима — зима, день — день, а ночь — нормальная темная ночь.

Прославился он несколькими расследованиями, когда, как поначалу казалось, новичок и профан из ничего, из одного-двух фигурантов, на свет божий извлек целые подпольные группы полицаев, пособников, шпионов, лесных братьев и прочей нечисти. После громких процессов по делам «бульбашей» за ним закрепилась репутация честного, бескомпромиссного борца с негодями всех мастей, может быть, не слишком тонкого, не приемлющего психологических экзерсисов, может быть, не очень далекого, но всецело преданного делу сотрудника.

Большая чистка конца 53-го прошумела мимо — слетело несколько голов на самом верху, в республиканском МГБ и прокуратуре, а так все осталось по-прежнему. Единственно, пришлось переквалифицироваться с 58-й на другие тяжкие составы. Самим громким делом стало расследование убийства двух инспекторов рыбоохраны, причем у одного из убитых был похищен табельный пистолет «ТТ». Тогда Заворотняк в месяц с небольшим вышел на след особо опасной банды из семи человек местных. Двух вожаков расстреляли, остальным, даже восемнадцатилетнему недорослю, младшему брату одного из главарей, дали по законной «пятнашке». Естественно, мальчуган попал на «взросляк», да еще на строгий. Кудрявого паренька встретили приветливо, накормили «бациллоу», угостили «марафетом», а потом оприходовали всем баракком. Пахан со странной кликухой «Паровоз», возжелавший по второму разу, отрабатывал потерявшего сознание уже на весу. Так что парень в первый же день вывода на работу — в лесобиржу — положил голову под циркульную пилу...

Конфуз, однако, вышел через два с половиной года, когда при неудачном налете на сберкассау в Гомеле у раненого рецидивиста Мухи был об-

наружен тот самый пропавший «Тульский Токарев», и он сознался, что «за-резал сонных придурков», зная, что у одного из них может быть «шпалер». Неприятность удалось замять, но от греха подальше Заворотняка перевели с повышением в Ленинград, снабдив следующей характеристикой.

Раскрытию почти каждого загадочного убийства в Белоруссии причастен старший следователь И. А. Заворотняк. Одни усматривают в этом везение, другие некую особую интуицию, присущую Ивану Антоновичу. Но, думается, дело прежде всего в способности Заворотняка взглянуть то, что до него осталось незамеченным, в его высоком профессиональном мастерстве. Иван Антонович использует в своей работе возможности различных экспертиз и знания специалистов, новейшие научные достижения в криминалистике и психологии, умело взаимодействует с органами милиции и общественностью. Все это — тоже слабые его мастерства, его «секрет». Впрочем, сам он никакого секрета из своего умения работать не делает. Его обстоятельные статьи, обращенные ко всем собратьям по профессии, регулярно публикуются. Интересна и поучительная его брошюра «Каждое преступление должно быть раскрыто». Заслуги И. А. Заворотняка в борьбе с преступностью признаны и оценены. Он Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, имеет и другие правительственные награды. Одним из первых в Республике Заворотняк был удостоен звания «Заслуженный юрист Белорусской ССР».

В Ленинграде карьера пошла потуже. Да и с сослуживцами особо быстрый контакт установлен не был. Его избегали, за версту чуя его местечковую недалекость, боялись казенно-рубленых фраз на собраниях, а за глаза называли «этот из Могилева», вкладывая в название его родного города нечто сакральное. Тем не менее, начальство и здесь ценило Заворотняка, и через пять лет он из «старшего» стал «важным», то есть, в переводе на человеческий, из старшего следователя стал следователем по особо важным делам.

— Какой расстрел? Какое убийство? — голос Званцевой взлетел к потолку, ударился и сломался... Горло перехватило.

— Умышленное, голуба, умышленное... — буднично продолжил Заворотняк.

И вдруг заревел:

— Замочила со своим любовничком двух пархатых... Не могли подождать пару лет, пока сами отойдут... Лапы жадные поскорее запустить в богатство... Как ты его уговорила родителей родных пришить? Отвечай, сука!

...Званцева пришла в себя, когда рев сменился монотонным речитативом:

— Вы, Званцева Элеонора Борисовна, обвиняетесь в том, что совместно со своим любовником Ковбышем Семеном Моисеевичем вечером 28 мая сего года совершили умышленное убийство родителей последнего: Ковбышей Моисея Залмановича и Ады Соломоновны, причинив им многочисленные телесные повреждения тяжелым предметом — вероятно, гвоздодером или сапожным молотком (экспертиза точно установит), повлекшие смерть... Показания жильца с первого этажа... Видел в окно, как входили около семи вечера... Показания соседей из пятнадцатой квартиры: «Слышали неотчетливый разговор за стеной на повышенных тонах и звук бьющейся посуды...» Показания домработницы: «Пришла утром в среду, дверь была закрыта только на защелку и один оборот замка... В передней обнаружила Аду Соломоновну... Лужа крови... К телефону... В милицию, в кабинете Моисея Залмановича, голова разбита, руки вывернуты, похоже, сломаны и в синяках... Позвонила по «02»...». Показания вашего бывшего, Александрова Петра Алексеевича: «Дерзкая, способная на самый неожиданный поступок, ни перед чем не остановится для достижения своих интересов...». Показания знакомых... Богушанская: «Ковбыши были категорически против брака сына с этой женщиной... В беседах звучало неоднократно...». Показания другого свидетеля... Рютман: «О браке их сына Семена с женщиной легкого поведения — Моисей Залманович выражался грубее — речи быть не могло...». Ну? Облегчи душу, расскажи все, как было, признайся...

Она только прошептала:

— Вы... Вы... Вы в своем уме? Я ни в чем не виновата...

Заворотняк добродушно улыбнулся:

— Поначалу здесь я виноватых никогда не видал... Хорошо, голуба, посидишь, подумаешь — глядь, что-нибудь и придумаешь... Распишишь здесь и здесь... Коробов, доставишь подследственную на Арсенальную, да сопроводиловку по форме заполни... А не так, как в тот раз: человек есть, а бумаг нет...

И низенький опер нелюбезно вытолкал Званцеву в коридор.

— Вот ты подумай, Черных, на что они рассчитывали, — Заворотняк продолжил листать бумаги, которые он уже знал почти наизусть, как память о загубленном воскресенье. — Там одного хрустала тысяч на тридцать новыми, облигаций — день проверять не хватит...

— И рыжевья немерено, — поддакнул тот, которого назвали «Черных».

— Вот-вот, всегда ищи, Черных, кому выгодно... А выгодно — только им... Залетные-то ради чего? Да их прислуга убогая, — Заворотняк заглянул в бумаги. — Квасцова говорит, что они без телефонного звонка нико-

му из незнакомых дверь не открывали... Исключено, да и видел ты налет, чтобы убить ради убить... Не бывает так, — Заворотняк вздохнул. — А богатство большое осталось, масштабный был человек этот Ковбыш, мне его дело на Литейном только краем глаза дали взглянуть... И в огне горел, и в воде тонул, везде вывернулся, школа старая... А тут — сыночек... Убил, конечно, он, но, Черных, уверен, что она им руководила... Сам видел — скромница такая, ни ... не понимает... Колоть ее надо быстро, от дружка толку мало — он, как его в Бологом взяли, так в ступор впал, до Питера ни слова не проронил, а в камере мычит и вторые сутки качается из стороны в сторону, как китайский болванчик... Думаю, его на недельку в больницу, галоперидол с аминазином ему мозги прочистит, но разговорится он вряд ли. Тут, Черных, тонко — действовал в состоянии аффекта, возможно, отец его послал на ..., потом замкнулся, на автомате еще три дня провел, что-то в Москве говорил, а на обратном пути — мы. Не ожидал, нервный срыв, понял, что наделал...

Заворотняк помедлил:

— Отцеубийца, от него проку мало будет, еще с психиатрическими экспертизами помучаемся, а она — идейная, тяжести потерь нет... Она и признается... Кстати, у тебя на Арсенальной шуринов в оперчасти... Давай по-быстрому за Коробовым, пошепчись с шурином, камеру ей подберите поудобнее, — Заворотняк улыбнулся и встал из-за стола, давая понять, что краткий инструктаж закончен.

...Оформляли Званцеву долго, и в камеру она попала лишь к вечеру.

— Чьих ты будешь? — покосив с койки одним глазом, спросила огромная бабища.

Званцева опешила. Опешила от вони застоявшегося женского общежития, перемешанного с хлоркой, и ужаса от нескончаемости этого безумного и бесконечно длинного дня. Втянула голову в плечи, безвольно опустила руки по швам, как третьеклассница, которую поймали за списыванием.

— Да она глупая, Тетя, — с койки напротив слетела чернявая остроносая тварь, лицо которой было густо посыпано угреватой сыпью. — Сейчас мы ей слуховой проход поправим, — и она улыбнулась одной верхней губой, обнажив мелкие острые зубки.

— Не-а, Синица, мы с ней в докторов поиграем... В этих, которые пропи.....

— В гинекологов, Тетя, в гинекологов, — еще радостнее осклабилась та, которую называли Синицей.

— Вы что, Тетя, — пролепетала она.

— Кому Тетя, а кому Оксана Мироновна, — злобно буркнула старшая, с хрустом распрямляя свое оплывшее большое тело. Под распахнутым халатом виднелись грязно-розовый лиф и полуспущенные нитяные чулки. — А ну раком встань, чуха, — внезапно заорала во весь голос.

— Тетя, это, это, это... как, — пролепетала Званцева, окончательно сомлев.

— Да на четыре кости, чуха... Вроде давно не целка, тебя шо, сзади не приходовали...

Страшный удар под ложечку согнул Званцеву пополам. Синица сжала ее голову между ног, заботливо запихнув в рот скомканные трусы, испачканные калом и менструальной кровью. Последнее, что она помнила, — как Тетя сопела в ухо, терзая самую нежную часть ее тела широкой пятерней с огромными грязными ногтями.

— Ты у меня, чуха, еще краски лизать будешь... За сахарок, за папироску, — бормотала, распаяя себя еще больше.

Ее насильовали всю ночь. Не спеша, со смаком, упиваясь беззащитностью жертвы и собственной безнаказанностью. Под утро разошлись так, что предложили истерзанное тело Званцевой четвертой в камере — азербайджанке Фирюзе, которая шла по 159-й и избежала подобного приема лишь потому, что соплеменники крепко за нее проплатили, да и колоть ее особенной нужды не было. Фирюза только мотала головой и плотнее забивалась в угол верхних нар.

Надзирательница, совершая ночной обход, так и осталась стоять у глазка, как приклеенная, переминаясь от возбуждения с ноги на ногу и периодически поглаживая саму себя.

— Кино и немцы, — доложила потом сменщице, опустив в рассказе момент про поглаживание.

За утренней пайкой, запивая горбушки темно-желтой бурдой, Тетя и Синица, вяло переговариваясь в блаженной истоме, пытались выяснить, кто же все-таки был слаще: Званцева или та недельной давности стюардесса Нелли, которая по глупости дала сто рублей новых директору мебельного за югославский гарнитур. Без трехгодичной очереди, не зная, что за директором охотились давно, и теперь, для пущей важности дела, Заворотняк пытался пришить ей и семьдесят долларов, найденных у директора в кабинете. И вообще, было неплохо проучить эту по первости надменную блондинку с перекисными локонами и убедительно доказать ей, такой гордой суке, что взятку давать так же нехорошо, как брать.

Весь следующий день, выпив две кружки воды, она выла в «черном» углу, зажимая между ног окровавленное полотенце. Даже поганое ведро с крышкой вытаскивала Фирюза, так как мучители Элеоноры «немного перестарались», как заметил старший надзиратель на утренней поверке.

Следующая ночь была повторением предыдущей, с той лишь разницей, что ее вдобавок отлупили по почкам палкой твердокопченной колбасы, невесть откуда взявшейся в камере.

...На четвертый день ее вызвали на допрос, она с порога, не читая пять страниц убористого заворотняковского текста, подписала чистуху. Снача-

ла важняк не узнал ее — перед ним стояла ссутуленная фигура неопределенного возраста с черными провалами вместо полуприкрытых глаз.

— И вот здесь — «с моих слов записано верно»! Ну, вот и славненько, — удовлетворенно процедил Заворотняк, укладывая листки в папку. — Может, суд и учет, хотя 102-я группой лиц по предварительному сговору... Считай, все пункты. Сговор, группа лиц, — повторился он, — корыстные побуждения. Ну, — он довольно ухмыльнулся, — состава по кровной мести не усматриваю. А теперь, конвой, на медосмотр ее к Макарычу...

В кабинете этажом выше сидел седенький дедушка, казалось, по ошибке напяливший засаленный китель с майорскими погонями. В петлицах кителя змея ласково обвивала чашу. Стоял резкий запах то ли пролитого, то ли употребленного спирта.

— Раздевайся, милочка, — ласково сказал он, по-доброму улыбнулся. — Вот там, за ширмой...

Званцева безропотно подчинилась.

— Золотая моя, что у тебя с руками? — спросил врач, а это был именно он. — Ссадины, царапины? Понятно, — он повертел руку Званцевой и зачем-то ее понюхал. — Так и запишем: «порезы и глубокие ссадины на обоих плечах и предплечьях, давность семь-десять дней»... Гематома в паху... Давность та же... И кто ж тебя, милочка, так ляпнул... Теперь рот открой... Зубы покажи... Гонореей, сифилисом не болела? Прямая кишка не выпадает? Ты с понедельника?

— Угу.

— С кем на воле дралась?

Ей бы рассказать этому старому пьянице... Но она не могла, не могла — и все. За три дня и три ночи она не сказала ни слова, изредка издавая вой умирающего животного. Казалось, все силы уходили на то, чтобы унять дрожь, приступы которой не могли отпустить ее ни в кабинете Заворотняка, ни у врача.

— Конвой, — громко крикнул он, продолжая заполнять формуляр мелким бисерным почерком. Перо противно скрипело по ворсистой серой бумаге. — Уведите. Куда, куда? Куда следак прикажет... В камеру, конечно... Оснований для помещения в лазарет не нахожу.

Через месяц дело передали в суд.

Многого не знал Заворотняк и разбираться, в силу многолетней привычки, не хотел. Да и если бы вдруг в голову пришло такое страстное желание, вряд ли ему удалось это сделать, даже обладай он талантом Эркюля Пуаро или другого гения сыска. Но способности его, мягко говоря, были скромны. Конечно, можно было бы поинтересоваться поподробнее личным делом Моисея Залмановича Ковбыша и, полистав на досуге, только в дате его рождения — 1 января 1900 года — увидеть нечто сим-

птоматическое и соотнести это с трагическим веком, практически отмевшим две трети своего существования. И все. Через десятилетия абсолютно невозможно было бы дешифровать краткие записи в послужном формуляре личного дела старшего Ковбыша: «1918–1929, особый отдел ВЧК-ГПУ-ОГПУ. Баку, Астрахань, Баку». Выцветшие от времени чернила характеристик ничего не говорили исследователю: «предан», «активно способствовал», «выявлял», «проявил мужество и отвагу»... А стоило бы.

Тогда, шестьдесят один год назад, в семье бакинского медника и палыщика Залмана Ковбыша наконец-то появился наследник. То ли лужение прохуdivшихся кастрюль в чаде углей и резких запахах кислот пагубно влияло на мужскую силу еще нестарого Залмана, то ли его Фира была как-то иначе устроена, но не получалось, и все. А тут на тебе — первенец и сразу мальчик. Вот у приятеля Герша Либерзона, промышлявшего извозом на промыслах, каждый год шли одни дочки... Правда, злые языки поговаривали, что Фиру огулял положивший на нее глаз владелец мясной лавки Гусейнов, у которого Фира на Пейсах брала курочку в кредит, но о чем только не брешут на бакинском базаре!

Долго думали, подбирая подходящее имя. Залман хотел назвать сына русским именем, что-нибудь вроде «Влас» или «Кузьма», убеждая Фиру, что это поможет мальчику выбраться из беспросветной еврейской нищеты. Фира махала руками и соглашалась минимум на «Мордехая». В итоге сошлись на нейтральном «Моисее».

Настал 1918 год. Пальцы Моисея — по-уличному Мосейки — уже были порядочно скрючены. К десяти он кое-как выучился читать и писать, а отец, посчитав образование сына законченным, с двенадцати приспособил его к ремеслу, и Мосейка день за днем стоял у папашкиного горна, раздувая ручные меха. К вечеру пальцы невыносимо болели, ломало кости. Насмотревшись за день на ярко-белые угли горна, уставали и слезились глаза, как будто припорошенные уличной пылью, которую приносил ветер с моря. Перспектива унаследовать дело отца Мосейке не улыбалась, мысли об этом тяготили и терзали более, чем физические страдания. Успокоение некрасивому, горбоносому, но по-житейски сметливому и ловкому юноше приносили лишь нечастые беседы с Цви Пинскером, раввином хоральной синагоги. Отец день субботний читал, и много раз Мосейка слышал, как Цви, вздымая вверх указательный палец, говорил ему:

— Чтобы стать умным не по годам, нужно лишиться детства, Моисей! Ты трудно рос, но я знаю, что твоя старая мама скоро, очень скоро перестанет плакать, а будет только смеяться...

Еще в начале зимы по городу поползли тревожные слухи, тем более что газеты стали приходиться крайне нерегулярно: в Петрограде — бунт, в

Москве улицы завалены трупами, фронт с германцами прорван, а в городе вместо губернатора верховодит какой-то Закавказский сейм, то ли еще что... И хотя нефтепромыслы по-прежнему качали черную маслянистую жижу, а пристань день и ночь стонала гудками буксиров, влекущих огромные баржи, Мосейка почувствовал скорые перемены.

Когда из соседней Гянджинской губернии пришли вести, что отряды смельчаков Мешади Кадира и Кербелай Аскера вовсю жгут и грабят лати-фундии, а владельцев беков и губернских чиновников режут, как баранов на Курбан-байрам, Мосейка оставил папин горн и пошел к роскошному по губернским масштабам зданию бывшей Городской Думы, где с недавних пор заседал Бакинский совет рабочих, солдатских и матросских депутатов. Он услышал удивительные речи, яростные и гневные, совсем не похожие на скучные нотации Цви Пинскера. Жгучий черноволосый армянин около ящика, обтянутого красной холстиной, восклицал: «Бакинский Совет выражает решительный протест постановлению Закавказского сейма об отделении Закавказья от России, принятому под давлением мусульманских контрреволюционных беков и ханов, заседающих в сейме. Это отделение является первым и решающим шагом в направлении подчинения Закавказья турецкому владычеству и приведет к восстановлению господства ханов в нашем крае. Это отделение является выгодным только для реакционных феодалов, в корне противоречит интересам угнетенных мусульманских крестьян и рабочих. Бакинский Совет считает своим революционным долгом прийти на помощь братскому рабочему классу и крестьянству всего Закавказья. Вместе с ним свергнуть эту контрреволюционную и преступную власть. Как по всей России, так и в Закавказье единственным спасением революции является создание Советской власти. Поэтому Совет постановляет: поручить исполнительному комитету созвать в Баку в ближайшее время съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов всего Кавказа. Совет заявляет, что он не скрывает от себя всей трудности положения бакинского пролетариата и города Баку, который является единственным пунктом Закавказья, не признающим власть Закавказского сейма. Баку нужно превратить в опорный пункт для борьбы за Советскую власть в Закавказье. Необходимо создать реальную силу вокруг Совета, оборонять себя... Распространять свое влияние... Свою мощь... На всей территории Закавказья».

Мосейка обратил внимание на то, что, несмотря на черную шапку волос, усы докладчика рыжие. Это его несколько удивило.

Когда рыжеусый закончил свое пламенное выступление, Мосейка набрался храбрости и протиснулся к нему.

— Грамотный? — строго поинтересовался рыжеусый.

— Грамотный, ваше благородие, — сморозил опешивший Мосейка. Докладчик улыбнулся, окинул взглядом Мосейкины обноски и сказал:

— Благородиями у нас осетров кормить скоро будут... Как зовут? Отец кто?

— Мосейка, тьфу, Моисей. Я у отца подмастерьем, лудильщик он в Нижней Слободе...

— Пролетарий, значит, — и рыжеусый пристально оглядел Мосейкины руки. — Вот как твои мозоли кровавые, так и у них кровь потечет... За Советскую власть жизнь отдать готов? — спросил уже без улыбки.

— Готов, — тут же откликнулся Мосейка, в душе абсолютно не понимая, зачем ему так сразу отдавать свою молодую жизнь, которая вот-вот может наладиться.

— Ну, ступай к товарищу Мясоедову в орготдел. Там люди позарез нужны, — и рыжеусый повернулся спиной, давая понять, что разговор окончен.

Служба у Мясоедова — бывшего сцепщика вагонов на узловой — Мосейке очень понравилась. Сбегать за донесением на железнодорожную станцию, нацепив красные повязки, пройти с товарищами поздним вечером по рабочим районам, чтобы тамошний народец сильно не озоровал, отстоять ночь в карауле у здания Совета с настоящей винтовкой, правда, без патронов, но со штыком, написать короткий протокол об изъятии у классово чуждого элемента. С последним выходило похуже — слишком плохо держался карандаш в скрюченных пальцах, но Мосейка освоился и тут... Но полностью понять ситуацию было очень трудно. То армяне начинали резать мусульман, в святой мести за 1915 год, то те огрызались. И телеги с полуприкрытыми дерюгой трупами на улицах стали обычным явлением, несмотря на все призывы Совета к классовой солидарности.

Через неделю Мосейка стал «своим», а через месяц, в конце февраля, его позвал к себе Мясоедов, заседавший в комнате, которая когда-то была чьей-то господской ванной. Помещались в ней стол с пищевой машинкой, четыре стула и унитаз с тисненной по фаянсу маркой «Лидваль и Ко», который по мере надобности можно было использовать в качестве пятого сидячего места. Иногда посетители, утомленные долгими разговорами, пытались приспособить его по прямому назначению, за что моментально свирепевший Мясоедов тут же гнал их вшаей.

— Вот что, Моисей, я смотрю, парень ты боевой, исполнительный... Читай последний декрет Совета Народных Комиссаров...

Мосейка взял со стола два листка с типографской печатью и начал декламацию, не быстро, но в сложных словах не запинаясь:

— Двадцать первое февраля 1918 года. Социалистическое Отечество в опасности...

— Да не вслух, дура, читай про себя и сердцем чувствуй...

Рефлекторно шевеля губами от избытка волнения, Мосейка изучил документ.

— Понял? — осведомился Мясоедов. — По глазам вижу, ни хрена не понял, а главное здесь, что наша с тобой рабоче-крестьянская республика создала для своей защиты чрезвычайную комиссию и на местах велела бороться до последнего вздоха с контрреволюцией и саботажем... В комиссию пойдешь?

— Пойду, — радостно мотнул головой Мосейка, которому очень понравилось слово «чрезвычайная».

— Тогда дуй на склад, пусть тебе подберут что-нибудь из оружия... Мы не только щит — запомни! — но и карающий меч революции... А я мандат тебе выправлю...

На складе свободным оказался только старый «бульдог» с пятью патронами, но все равно удача была необыкновенная. Когда к нему в руки попал вчетверо сложенный листок бумаги, который украшали расплывшаяся лиловая печать Бакинского Совета и залихватская с двумя росчерками сверху вниз подпись Мясоедова, он понял, что жизнь изменилась всерьез и надолго.

Он быстро сошелся с новыми коллегами — Амиром Ализаде и Гейдаром Джафаровым. Тем более Джафарова он знал раньше, когда тот еще фармазонил на рынке, предлагая простакам сыграть с ним в «кручу-верчу» или «скорлупки», при случае ловко уворачиваясь от полицейских облав. Очень быстро Мосейка стал как бы главным в этой тройке, так как при прочих равных условиях — пролетарского происхождения и преданности делу революции, — не имел дополнительных досадных минусов. Гейдар, сбегавший из сиротского приюта и промышлявший на рынке лет с десяти, был малограмотен, писать не умел, читал с трудом, по складам, и в разговоре был косноязычен, а в рапортах окончательно сбивался... Ализаде говорил звонко, как бьетса о камни горный ручей, но имел одну всепоглощающую страсть: все свободное время он проводил в квартале веселых домов близ нефтепромыслов, где водилась у рабочих серьезная копейка. Его поразительное мужское достоинство непрерывно требовало успокоения, он знал, что подруги за глаза называют его «Ишак», но был уверен, что в лицо обидную кличку никто не бросит, опасаясь его немалого кулака.

И жизнь пошла совсем веселая. С обысками, реквизициями и допросами всяческой контры. Домой Мосейка забегал редко. Ночевал обычно в Совете. Попытки, по примеру Ализаде, устраивать ночлеги в квартале красных фонарей натолкнулись на равнодушное сопротивление прости-туток, которые с горбоносым, с трясущимися руками отроком отказывались скоротать ночь даже за золотой империал. Как-то, заглянув к роди-

телям в обеденное время, на возникший было вопрос папаша о средствах на кормление Мосейка, ни слова не говоря, положил на колченогий стол дутый золотой браслет, ненароком попавший в его карман во время последней реквизиции.

Но счастье оказалось недолгим. Англичане и турки подступали к городу со всех сторон. Не успела отцвести вишня, а Мосейка — порадоваться почти новым френчем хорошего сукна, как пришлось срочно бежать из Баку. Мясоедов, тонко чувствовавший момент, втихую арендовал баркас и ушел с рыбаками в Астрахань, захватив своих верных людей и кое-что с последних обысков.

Через день в Баку вошли англичане и начали яростно помогать новой власти устанавливать демократические порядки в отсталом забитом крае, стонавшем под игом безвластия и большевизма, а заодно получить контроль над нефтепромыслами.

Первым делом англичане похватали тех из Совета, кто непредусмотрительно остался в Баку. Они ожидали, видимо, чуда — поддержки широких рабочих масс. Этого, однако, не случилось.

Задержанных благоразумно разместили по кутузкам. Большевиков там набралось на круг — пяток, ну шесть от силы, а остальные страдальцы — так, мелкая конторская сошка, прельщенная пайком. Но разбираться у англичан не было времени.

Участь тех, кто пытался бежать из города по суше через Муганские степи, была гораздо печальнее: бойцы полка «Ярды Алайы» закапывали их живыми в почву, и без того плодородную. Но об этом Мосейка узнал много позже, в Астрахани, где продолжил бороться с контрой под мясоедовским началом.

Слухи до Астрахани о положении дел в Баку доходили самые противоречивые. То задержанных отпускали — благо власть демократическая и должна руководствоваться духом и буквой закона, то опять забирали, сконцентрировав всех неблагонадежных в Баилловской тюрьме.

К концу лета правительство Закавказской Демократической Республики решило отправить их обратно в Астрахань к большевичкам — то ли обменять, то ли очистить город от нежелательного элемента таким способом. Однако пароход с узниками вместо Астрахани повернул на Краснодарск. После недолгих раздумий их посадили в теплушку. Состав оттащил ничего не понимающих измученных людей до 207-й версты. Их высадили на насыпь далекого разъезда и казнили бывшие единоверцы в борьбе за светлое царство социализма, с хеканием исполосовав шашками и напоследок для острастки отрубив головы. Англичане при сем присутствовали, но вмешиваться в кровавые разборки варваров не желали, руководствуясь традиционным имперским чистоплюйством.

Ужаснувшись подробностям, в Астрахани специально пустили слух, что расправу над товарищами учинило британское офицерье, пустив по пуле, дабы не разрушать миф о пролетарском интернационализме, что могло пагубно сказаться на душах еще не окрепших в борьбе.

В конце 19-ого года из Баку пришла другая плохая весть: старых Ковбышей — очевидно, по навету, из мести за сына — забрали в заложники после поджога на нефтепроводе. В круговерти этого странного времени они растворились бесплотной тенью, и, как ни старались община, и даже почтенный венеролог, ставший министром и отвечавший в новой демократической республике за здравоохранение, судьба их так и осталась неизвестной. Мосейкино сердце окончательно зачерствело и окрепло. Он посуровел, заострился, хотя раньше и не особо жаловал отца, всю жизнь горбатовшегося у горна и приспособившего его сызмальства к тяжкому труду среди кастрюль и чайников, и не по-еврейски забитую мать. Выжег, вспоминая папины уроки, на деревянной кобуре «маузера», сменившего «бульдог», короткую надпись «смерть буржуям» — по новой орфографии без «ять». И очень старался, чтобы эти слова с Мосейкиным делом не расходились.

Вернулся он в Баку в мае двадцатого. И не просто вернулся, а въехал на захваченном у англичан трофейном австрийском «Штайере» с шофером в кожаном картузе и автомобильных крагах. Еще бы — старший военный следователь особого отдела ВЧК при 11-й Красной армии. Заметим, что его назначение в штабе армии поначалу вызвало вопросы: парнишке двадцать всего, не рано ли? За Мосейку перед начштабом горячо вступился Мясоедов:

— В доску наш парень... Огонь и воду прошел... Родителей контра замордовала... Предан... Член ВКП(б) с прошлого лета... Последним из Баку ушел со мной... В перестрелках... Чутье... Врага под землей чувствует...

А потом последний, как оказалось, решающий аргумент:

— У тебя самого комполка третьего крестьянского моложее будет...

И начштаба с командармом наложили резолюцию на рапорт: «Назначить» и оттиснули в углу серп и молот реввоенсовета армии.

Устроился Мосейка скрытно, но с размахом — на большой старой барже, одиноко стоявшей в дальнем затоне. Пополнил отдел бывшими политэзками из Баиловской тюрьмы и о мясоедовской ванне уже и не вспоминал. Взвод охраны сломал на барже часть перегородок, к люкам приспособили удобные лестницы, натащили письменных столов и кушеток из близлежащих домов, брошенных классово чуждыми элементами. Особенно Мосейке нравилось большая бронзовая чернильница, представлявшая трех медведей, обнимавших бочонки разной величины. Он строго следил, чтобы в большом бочонке не иссыкали черные чернила, в

среднем — зеленые, а в маленьком — красные, для особо ответственных пометок и вердиктов.

Работы было много. Не все купцы и нефтепромышленники успели убежать. Хватало и чиновного люда низложенной республики, которой история не отмерила и трех лет. Враги были повсюду. Безжалостно рубить ядовитые корни измены и выжигать каленым железом саботаж надо было до десятого колена. Поэтому брали семьями. Он еще с астраханских времен перестал удивляться, что булочник, обсчитавший пролетария, или мастер, снизивший расценки за недобор нормы, на самом деле являлись опасными для молодой власти преступниками. Удивляло, что очень много врагов оказалось среди зажиточных армян, которые, убегая от резни пятнадцатого года, осели в Баку. Нашли куда бежать!

Юных армянок Мосейка предпочитал допрашивать сам. Начинал вкрадчиво:

— Ну, цыпа, расскажи дяде Моисею, кто к папе в гости ходил? О чем разговаривали? Что вспоминали?

Потом вставал со стула, подходил к насмерть испуганному существу и увлекал ее к кушетке.

— Будешь дядю Моисея слушаться, скоро домой пойдешь, скоро... — цедил сквозь сжатые от вожделения зубы, одновременно заворачивая юбки на голову жертве. Впивался крепкими пальцами в ягодицы:

— Домой пойдешь... Пойдешь... Пойдешь...

Слово свое Мосейка держал крепко. Если испытываемая была в меру покладиста, она, зареванная и сопливая, шла обратно в разграбленный дом, где об остатках утвари уже беспокоились мародеры. Если нет, девчонка начинала отбиваться, царапаться и, не дай бог, кусаться, проявляя строптивость характера, на помощь приходили Ализеде и Гейдар. Первым взяв свое по праву владетельного феодала, Мосейка отдавал строптивую в полное распоряжение помощников. Венцом допроса было «укрошение», когда его кулаки одновременно охаживали капризулю. Укрощением это действие Мосейка называл вовсе не потому, что читал Шекспира — он вообще не знал, кто это такой, а лишь по детским воспоминаниям о заезжей цирковой труппе с дрессированными обезьянами, которые поначалу отказывались слушаться укротителя, но под воздействием грозного голоса и палочки начинали творить удивительные кунштуки.

Конец «укрошения» был еще более печален, чем сам процесс: бездыханное тело прятали в мешок, добавляли что-нибудь тяжелое — и подальше в море. Скрип лодочных уключин Мосейка не любил и, услышав его, вспоминал, как старая, с бельмом на глазу проститутка отказала ему в ласках.

— Найти бы ее, — мечтательно размышлял Мосейка в наступившей блаженной истоме.

В делах дня, в будничной работе он не обратил внимания, что наступила осень. И все бы ничего, но две летние встречи двадцатого года определили всю его последующую жизнь.

В разгар жарчайшего летнего дня, когда весь город застывал в ожидании захода испепеляющего солнца, по сходням баржи застучали ботинки патруля, и старший наряда, вытолкнув вперед мужчину и женщину, доложил не строго по форме, а как знакомый, отчего начальника особого отдела покоровило: «Как на базаре докладывает».

— Моисей Залманович, вот в рыбацкой бухте крутились... Проверить бы надоть...

Ковбыш придиричиво оглядел задержанных. Мужчина ему сразу не понравился: чуть седоватый ежик, чисто выбрит, под сорок, выправка видна, несмотря на мешковатый пиджак, явно бывший офицер и ранга, судя по уверенному прищурю глаз, немало. А женщина была вообще неземная — раньше Мосейка таких не встречал. Нет, не красивая, вовсе нет, просто иная. Абсолютно непонимающе-отрешенный взгляд, коротко стриженные пепельные волосы, странного кроя юбка цвета хаки и жилетка. Жилетка на женщине! Вдобавок шнурованные боты...

— Ну, пошли, господин хороший, вниз — потолкуем, — вежливо пригласил Мосейка незнакомца. — А мадам пусть здесь поскушает...

Оглядев еще раз крепко сбитую фигуру, приказал:

— Фаталиев! Богуш! За мной! Строго смотреть!

Конвойные встали у дверей. Ковбыш заботливо выдвинул стул на середину.

— Присаживайся, господин хороший! Рассказывай... Подробнее обо всем... Да и о бабенке своей доложи...

Надо было незнакомцу сдержаться — даст бог, все и обошлось бы, случилось иногда и такое, но выиграла родовая спесь:

— Это тебе, жиденок, не бабенка, а моя жена Дороти, подданная Имперской Короны Ее Величества, двоюродная сестра главы Британской Военной Миссии в Шахиншахстве Иран Его Превосходительства командора Снайпса. А я, — еще раз повторил страшное для Мосейки ругательство, — не господин хороший для тебя, тварь, а полка Фанагорийского Светлейшего Князя Суворова-Рымникского Российской Гвардии подполковник!

И плюнул ему под ноги.

Мосейка в лице не изменился, только свистнул в два пальца залиvisto, только глаза превратились в узкие змеиные щелки. Вызвал Гейдара и Ализаде.

...Подполковника били долго. Когда он упал, Ализаде, сев ему на грудь, молотил по голове, раскачивая ее из стороны в сторону, как маятник часов, а Гейдар с Мосейкой пинали ногами, причем Мосейка норовил попасть в пах,

а Гейдар лупил палкой по лодыжкам... Трех ведер соленой каспийской воды не хватило, чтобы отлить подполковника. Привязали мешковатое обмякшее тело к стулу. Вылили четвертое ведро, за которым сбегал конвойный. Избитый, наконец, разлепил веки. Лицо его представляло сплошной кровоподтек.

— Фаталиев! — приказал Ковбыш. — Эту подданную сюда пригласи.

Вспотевший от духоты трюма и физической нагрузки, Ковбыш оттирал пот со лба.

— Сюда смотреть! — приказал Мосейка и еще разок двинул привязанного кунаками человека в челюсть. Легонько, чтобы стул ненароком не опрокинуть.

Для лучшего обзора подданную «укрощали» на столе, с которого Гейдар предусмотрительно убрал бумаги и всякую нужную переписку. Чтобы подполковнику было гадостнее, Мосейка первым запустил на англичанку Ализаде...

— Голову ей, стерве, держи, Гейдарушка! — распорядился Мосейка. Вой на незнакомом языке обрубать не стали — пусть благоверный не только все видит, но и все слышит... Мосейка, хоть особенной силой в «укрощениях» не отличался, в конце второго часа взошел под одобрение товарищей по третьему разу. Растерзанная в клочья, англичанка уже не выла, а мелко с паузами подвывала.

...Не застегивая галифе, Мосейка подошел к стулу поближе и заглянул в глаза привязанному. Сквозь сплошной синяк на него в упор уставились два черных зрачка, похожие на маленькие пули... То, что осталось от человека, впервые разъяло разбитые губы, обнажив осколки зубов. Мосейка услышал отчетливый шепот:

— Ты умрешь страшной смертью, нелюдь...

А зрачки налились неистовой ненавистью и верой. Мосейка испугался не на шутку: с ненавистью ему приходилось сталкиваться почти ежедневно, к ней он привык, относился спокойно, как к временами терзавшей его боли в пальцах. Но такую неугасимую, всепоглощающую веру он до сих пор не встречал, сам он давно уже ни во что не верил.

— Заткнись, падаль! — и с этими словами ударил злодея отполированной рукояткой подвернувшегося маузера прямо в висок. Раздался хруст расколотой скорлупы грецкого ореха...

Окончание следует...

Александр Веселов

